



Федор АБРАМОВ.

Фото Р. КУЧЕРОВА

*И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлевать,  
Но ближе к милому пределу  
Мне все б хотелось почивать.*

Александр ПУШКИН  
Михайловское, 1829 год

**У**ЖЕ все позади. Панихида в ленинградском писательском доме, напряженные, сдавленные от горя слова друзей — товарищей по перу, многотысячное половежье людей при выносе тела, надрывно-резкий крик из толпы: «Прощай, заступник!», последний кортеж по его любимым невским набережным — и гроб вознесся в небо...

В Архангельском аэропорту пересадка, обложенный венками и цветами гроб везли в грузовой «Ил-14» — трудная дорога до пинежского дома. Нам, нескольким близким ему по жизни людям, удалось примоститься по бортам, чтобы вместе с ним преодолеть этот последний, завершающий его жизнь перелет над родной стороной, который в добрые годы был для него всегда волнующим. Последний взгляд дорогих его сердцу мест. Под крылом промелькнул желтый песчаный полоской Пинежский тракт. Летом 1939 года, где пешком, а где на попутных подводах, выбирался он этим трактом вдоль обмелевшей Пинеги на большую двинскую воду, спешил в большую жизнь... А вот она и пролетела, возвращается он в приют трудов и вдохновения на вечный покой, возвращается к милому пределу — таков был его наказ...

«Ил-14» качнулся и пошел на разворот перед посадкой. Толпы людей от лесных окраин устремились через травяное поле карпогорского аэродрома навстречу самолету... Веркольские мужики сильными руками подхватили гроб и осторожно перенесли в кузов грузовика.

Печально заиграл духовой оркестр, нестройно выводя мелодию; люди податливо колыхнулись, нехотко сдвинулись и потекли. Долго идем через Карпогоры, мимо плотных рядов его земляков, застывших в скорбном молчании. Сколько же он призвал своей кончиной плакальщиц!

Где-то в середине пешего пути остановка у небольшого двухэтажного дома. Здесь он учился в первом наборе карпогорских десятиклассников. Его братья из нужды для учебы выбрали лишь одного, самого младшего, но по уму крепкого, с быстрой, все схватывающей смекалкой. Они же настояли, чтобы он обязательно поехал в университет... И он всю жизнь был благодарным братом. Отвоевав и отучившись в университете, потом в аспирантуре, долго не оставлял работу в очевидный вред делу писательскому, ради того, чтобы помогать старшему брату Михаилу, жившему с семьей в деревне. Трудное то было время, и не обошло

стороной Федора Александровича Абрамова, не прикрыло его жизненных забот о родне невским фасадом. И в более поздние годы, сокрушаясь, что мало успел — слишком поздно начал писать, — он при этом никогда не жалел, что трудился ради братьев и сестер, а потом и многочисленной родни — племянников и племянниц...

Немного успел — вот наша непроходимая боль. Три тщательно отобранных тома, изданных к его 60-летию. Мало. Но надо при этом не забывать, каких писателей имеют в наследниках эти три тома. Астафьев, Белов, Иван Васильев, Можав, Распутин... А можно без какой-либо скидчи сказать, что все мы, пишущие о современной деревне, вышли из Абрамова, из его «Братьев и сестер», из его очерка «Вокруг да около». Дни появления их были счастливые и горькие. Счастливые — от узнавания правды, горькие — от душевного осадка, который неминуемо ложился на сердце своей болью и приближал к истине... С того памятного 1958 года, когда в журнале «Нева» были напечатаны «Братья и сестры», он четверть века был впереди нас, пишущих о деревне. Свет его мыслей, боль его сердца, его страстное слово укрепляли нас в истинности и правоте поисков. И должно быть, он долго еще оставался бы впереди... Ему хотелось написать главную, «Чистую книгу». Он собирался также рассказать о своей нелегкой, страдательной судьбе в «Жизни Федора Стратилата»... Собирался... Но главной книгой остались «Пряслины». И за то ему низкий поклон...

Хотя, вроде бы не так уж и давно, после Великой Отечественной, способный выпускник ЛГУ, из фронтовиков, с трепетом и не без робости садился за литературоведческую диссертацию о мастере признанного миром гения, первого писателя XX века. Но робость не подавила в диссертанте художника, а глубинное проникновение в шолоховскую материю пробудило и усилило художническую дерзость, желание осилить, казалось бы, недостижимое. С тех пор мысль о профессиональном писательском труде не покидала его. Шли годы. Талантливый литературовед заведует кафедрой советской литературы, учит студентов, а дома размашисто исписывает страницы, уверяя им многотрудную судьбу «Братьев и сестер», уверяя высокий смысл и высокую цель, которая жгла его изнутри.

он, конечно, знал высокую цену созданному самим, но мыслью, помыслом, дальним и благородным, лелеял надежду потянуться, готовился к большему, напряженно работая круглые сутки, уединившись, замерев, как стрела в луке перед поражением выбранной цели... Мы, северяне, вырезаем поздно, край наш такой нелегкий. Даже Ломоносов — первый наш посланник Миру — за школу взялся в 19 лет, чтобы к своим 37 годам установить «всеобщий закон природы». И кто знает, может быть, «Чистую книгу» Абрамова ждала столь же великая судьба...

**П**ОХОРОННАЯ процессия вышла к карпогорской околице. Остановилась. Ленинградцы, москвичи, архангелогородцы рассаживаются по машинам. Впереди последние пятьдесят километров по проселочной дороге до Верколы. Отъезжаем. За нами остается безмолвное человеческое море, скорбное, безутешное...

Первые деревни на пути. Все так же было теснились люди по бокам дороги, ожидавшие не один час, когда появится машина с гробом, чтобы проститься со знаменитым земляком, поклониться ему в пояс по-русски... По сторонам проплывают перелески, борки, березовые опушки, озери, речушки, известные ему о детства не только именами своим, но и особыми приметками, ставшими в его произведениях художественной прозой.

«Приедет, бывало, из Ленинграда, — рассказывает мне потом, уже в Верколе, односельчанин его Дмитрий Михайлович Клопов, — голодный до леса, просто спасу от него никакого нет. «Торопись, Митя, торопись, в лес надо». Пойдем далеко, бором, чащобой, без тропки. Не жалуются, все ж ноги у него, как бы и не своим, дважды простреленные, перебитые... Идет молча до устатку, и каждый кустик гладит, ласково так, рука

мя. Нет, думаешь, прав Федор. Каков был человек. Ради правды момента не выбирал, настроению, раслабленности не потворствовал. Таковую-то целительную правду нести тяжело, раньше времени скужожишься. Он знал это, но себя не щадил, как и других...»

«А вот и к Хорсу подъезжаем, дядечка любил это место», — и опять в слезы, слов не слышно, Галя закрыла лицо руками, только плечи вздрагивают.

И я вспоминаю, что он рассказывал мне про Хорсу. Как семилетним мальчишкой гонял сюда коров на выпас, и говорил о тех годах благоговейно. «Знаешь, счастливые были годы. Дал нам веркольский Совет землю под раскостку. Мать-вдова собрала нас всех, робяшей, мал мала меньше, я младший был, и по вела пилить, корчевать лес, пашню готовить. Работали, можно сказать, круглые сутки. Свет стоит — белые ночи. Припадем, прямо тут же на раскостке, на часок для роздыху, и опять в работу. Пашню распашали, скотину свою завели, лошади, коровы, овцы... Тут-то я и пастушонком стал, опять в деле. Гоним бором скотину, сумеречно, опасно, те из ребят, кто постарше, нас медведем пугают. Мы дрожим, жмемся друг к другу, и все торопим, все не чаем, скорее бы Хорса. А коровы не поспевают, у реки станут, воды в удовольствие подьют и дальше зашагают... Мы все с опаской за деревья, за край дороги поглядываем... Так в страхе-то и до Хорсы доберемся, а уж там раздолье, как в степи. Оттуда только у нас такое место вышло. Целый день прыгаем, сначем, крутимся наперегонки, отбиваемся от гнуса комарья, мошки... И столько солнца! Да за всю жизнь потом столько не выдалось... Хорса и раскостки так и остались счастливыми днями, будто во сне явились. Ты уж, возможно, таного не застал, тридцатые годы были другими, а уж о пятидесятых не говорю, тогда раскостки совсем зарастать стали, не нужные ни для пашни, ни для пожни. Вот горе-то народное когда пришло...»

Уже полночь. На Хорсу мы въехали в полупрозрачных сумерках. Дорога пошла в гору укатанная; машину перестало трясти, и мужики, что окружали гроб по углам, встали во весь рост, чтоб разогнуть спину и чуть ослабить ноги, затекавшие за добрых два часа езды.

## К МИЛОМУ ПРЕДЕЛУ

### Арсений ЛАРИОНОВ

Я же напряженно вглядывался в дальние окраины Хорсы, словно надеялся увидеть там приподнявшееся стадо коров, стайку мальчишек и маленького Федю, быстрого, сноровистого... Что есть жизнь? Что есть начало ее и конец? Может, в этот момент еще не отлетевшей душой он почувствовал, услышал голос детства, голос счастливых порывов страхов, ожиданий, несуетных надежд, а может, услышал шорох ночной птицы, взметнувшейся над головами веркольских мужиков, окружавших гроб. И они разом вздрогнули, повернули головы на затихающий шорох, на гаснущее движение воздуха. А может, то явилась из глубины времен птица, начинавшая эту жизнь вместе с ним, здесь, на лугу, возле речки Хорсы...

И возник перед глазами лик полуразмытый, запыряло мальчуганово личико, засмеялось звонко. Пастушок будто снова в самом начале пути. Еще ждет его точные дни, медленно текущих, духовная сладость букваря, стихов, веселость ребячьих состязаний и мятежность снов, уносящих в почти несбыточное будущее. Хорса, Хорса — далекое детство, счастливые дни.

Машины въехали в лес, совсем погружившись в темноту, надрывно гудели моторами, высвечивая фарами разрезанную дорогу и выбирая колею потверже. А по бокам стоял сосновый бор, ягодный, грибной.

«Ой, беда, дядечка, беда горькая, не хаживать тебе больше, дядечка, не бирить бруснички во сухом бору... Уж как ты радовался-то, как охотливо ее прикусывал. А вот и не сбегаешь больше сюда, а рукой не коснешься красного огня брусничного...» Комок подкатил к горлу, приступила невольная слеза, душа захолонула, отяжелела... Радости людские, короткие...

Бор кончился, свет фар ударил в стены домов. Замелькали быстрые тени сбегающих людей, истошно вскричал женский голос: «Ой, Феденька! Свет ты мой!» Поднялся к небу, затихая и вновь набирая еще большую силу... Это был стон самой Верколы...

Улица сдвинулась всем своим многолюдьем к дому, окружила машину с гробом. Опустили борта, хлопнула калитка, мужики рынком вздымили на плечи отяжелевший гроб. И он медленно поплыл, чуть-чуть покачиваясь, к осиротевшему дому. В тесных сенцах с трудом развернули его и внесли в единственную комнату, в которой каждое лето последние девятнадцать лет Федор Александрович радовался своему житью-бытью деревенскому. Это был его дом, точнее, по нашим северным представлениям, его изба: снаружи — нарядная, обшитая вагонкой и покрашенная, а внутри — келья кельей... По нынешним временам — совсем неудобно. Отодвинули спешно его рабочий стол, и в тесный проход на четырех табуретках поставили гроб на последнюю



Деревня Веркола. Стрелкой указано место захоронения Ф. Абрамова.

Фото П. КРИВЦОВА

Сегодня они оба — и учитель, и бывший ученик — стоят в одном ряду признанных мастеров русской литературы. Но для Абрамова Шолохов, как и в прежние годы, недоступная и сияющая вершина. Я вспоминаю, как он говорил еще совсем недавно: «Тихий Дон» — трагедия, может быть, что и с Гомером вровень! Вот громада, с таким современным не потягаешься». И он не лукавил,

дрожит от волнения... Пройдет время, и в книгах его читаю все виденное нами вместе, и так хорошо у меня на душе, так правдиво все описано, будто моим словом, будто он слышал меня, хотя вслух я ничего не говорил. Единодумы мы с ним были, единочувствующие...»

В этой похоронной процессии еду в машине вместе с вдовой — женой и близким другом, ближайшим помощником и советчиком во всех делах Федора Александровича Людмилой Владимировной Крутиковой и его любимой племянницей, бывшей ему за дочь, Галиной Михайловной Абрамовой — дочерью старшего брата. Для них обеих — это смерть любимого человека, единственного в мире, незаменимого. Их горе можно понять, их горю нельзя не посочувствовать.

«Погляди, дядечка, молодые сосенки поднялись на борах, — плаксиво запримечала Галя, — где ты в войну-то лес рубил, бабам помогал, деревянное масло толлок... Вон сосенки-то какие ладные да кудрявые, у них еще целая жизнь впереди. А твоей-то, дядечка, последний час истек...»

«Галя, ты бы не убивалась, голубушка, сердцу и так тошно, — скажет тихо, преодолевая душевную боль, Людмила Владимировна, а сама тут же и продолжит рассказ о живой жизни Федора Александровича.

«Ведь тут мы рыбачить ездили, вон на той заструге, — и ткнет в сторону Пинеги, серебром мерцающей в сумерках. — Он любил рыбачить, не столько для рыбы, конечно, сколько охоту справиться, с мужиками посидеть, поговорить с ними по-свойски, пошутить в бурном разговоре...»

И на память приходят слова его старшего пинежского друга Аквилона Егоровича Булыгина. «Но и за ухой не мягал, схватится, бывало, ну до чего ж неуступчив, прям, сразу-то как-то и неловко даже. Вот, нелад, уху испортил, добрый приятельский разговор. И возразишь ему, с легким укором. Он расшумится, все напрямик и скажет, что у него за душой... Раздосадуешься. А пройдет вре-